

С самой весны не было дождей, и хлебá на полях выгорели. Редкая низенькая соломка щетинилась, как жнивьё, пустые колоски торчали кверху сухими кисточками. Подсолнечники едва поднимались над землёй, маленькие их шляпки желтели на тонких стеблях с опалёнными листьями. Всюду было пустынно на полях, и казалось, что они тяжело болели и мучительно стонали. Небо было огненное, на него больно было смотреть. Знойный воздух дымился удушливой гарью, а на горизонте мерцали пламенные марева. Грачи и галки изнурённо садились на сухую траву с растопыренными крыльями и широко раскрытыми клювами.

Мы ехали из Саратова с попутным мужиком, который возвращался домой через наше село. Мужик вёз какой-то товар

своему лавочнику, и мы кое-как ютились со своими вещишками между кулями и ящиками. Пара ребрастых лошадёнок через силу тянула воз, за сутки мы делали до трёх пряжек вёрст по десяти. Ехали больше по ночам из-за удушливого зноя, и мне было жутко трястись на скрипучей телеге в багровой зловещей тьме: зарева далёких пожаров трепетали над горизонтом в разных местах и тревожили душу смутным предчувствием.

— Жгут и жгут... всё бар жгут... — оторопело бормотал мужик. — Лихая бяда... везде бяда...

Мужик был какой-то ошарашенный, пыльный, в заско-рузлой от пота и грязи рубахе, в измятом картузе, надвинутом на переносье. Из-под козырька уныло торчал обветренный нос и растрёпанная рыжая бородёнка. На вопросы отца он отвечал редко и невнятно и только одно выговаривал тяжело, со стоном: «Бя-ада!.. Бя-ада, да и только...» Хлеба у него не было, и деньжонок не было, а мешок овса для лошадей получил он в Саратове от купца, которому он доставил какое-то сырьё от своего лавочника. Работал он у него батраком и ездил от него в извоз на мужичьих одрах. Кормили его всю дорогу мы, и он чуть не плакал от стыда.

Все сёла на большой дороге мы объезжали стороной: карауль-ные мужики с сучковатыми колями в руках отгоняли нас от околиц на пограничные межи. Так тогда охраняли народ от холеры.

Отец обычно шагал возле воза или спал, уткнувшись в тюки. Мать сидела, застывшая от дум и немой скорби. Иногда она склоняла голову к моему плечу, когда я сидел рядом с нею, и шептала едва слышно:

— И куда мы едем, зачем едем, Феденька? Что делать-то станем?.. Ведь в черноту, в бездолье едем. Только и гонит нас неволя одна... Были бы крылья — улетела бы я опять на ватагу к вольнице нашей... Люди-то там какие были, сынок! С кровью мы оторвались от них... а никогда их не забыть...

Я сам страдал вместе с матерью, Не ватага и не Астрахань были мне милы: ватажная каторга, душные, грязные бараки, свирепое издевательство над людьми, выматывание из них последних сил убивали не только слабых, но нередко и выносливых работниц и рабочих. Но там мы узнали и душевные радости и волнения. Мы сроднились там с людьми духовно сильными, которые научили нас видеть жизнь и людей по-новому и пережить счастье общей борьбы рабочих людей за своё человеческое бытё. Мы за этот год выросли оба, почувствовали новую большую правду. А что ожидает нас теперь в родном селе, в старозаветной

семье деда? И вот эти голодные мужики, которые гонят нас от сёл в полынные столбники-межи, казались мне зловещими чужаками, предвещающими беды и гонения в родных местах.

В наше село въехали мы после долгих переговоров и споров с дурковатым Ванькой Юлёнковым, который притворялся, что не узнаёт нас. А при въезде на улицу мы остановились перед похоронным шествием: один за другим проносили мужики три гроба. Не слышно было ни рыданий, ни вопленья, как прежде было в обычае, да и люди не брели за гробами.

Дедушка с бабушкой вышли к нам навстречу из ворот, а за ними — Тит и Сёма. Бабушка заплакала, а дед со взъерошенными зелёными волосами шёл, подгибая колени, и, улыбаясь, кричал пронзительно:

— Ну, явились наши бродяги! Мать, где кнут-то? Выпороть их надо, чтоб не шатались по стороне.

Но я уже видел, что он шутит, и заметил, что в нём уже не было ничего страшного: он стал какой-то измятый, надломленный. Он первый обнялся и поцеловался с отцом и с матерью, а с бабушкой мать долго стояла, положив ей голову на плечо, и обе они тряслись от рыданий. Дед повернулся ко мне, и в глазах его мелькнул лукавый огонёк.

— Это кто тебя оболванил, астраканец? Общипали вихры — башка-то горшком стала. Опоганился, поди, обмирщился. Кланяйся в ноги!

Но я упрямо насупился и попятился от него: кланяться в ноги я отвык. Этот приказ деда показался мне унижительным и обидным.

— А-а, не слушаться дедушку! Избаловался там, на ватагето, арбешник?.. Ну-ка, Титка, Сёмка, дайте-ка мне черессдельник!

Но Сёма смеялся, обнимаясь со мною, а Тит с любопытством оглядывал отца и мать, одетых по-городски, и осудительно бормотал:

— Стыда-то нет... без волосника приехала...

В избе отец с матерью, как принято, помолились и в пояс поклонились и деду, и бабушке. Дедушка сел за стол в передний угол, а отец — на конце стола. Тит сел на лавку поодаль, мы с Сёмой, как парнишки, — на лавке за бабушкой с матерью, перед шкафчиком с чайной посудой. Сёма тыкал меня в бок и шептал:

— Чудной ты какой стал, словно кургузый! Это зачем вихры-то обкорнал? Вы с матерью совсем сторонние да мирские стали.

Дедушка строго внушал отцу, постукивая пальцем о стол:

— Кормить тебя не буду. Для лишних ртов у нас и крошки нет. Видал, как Бог наказал народ неурожаем-то? Ни зерна не соберём. У Митрия Стоднева приходится просить, как милостынку, за холсты да за пряжу, а деньгами, у кого они есть, втридорога дерёт. Вон у холерных и душевую, и усадьбу, и избы за пуд муки в заклад берёт.

Бабушка вынесла из чулана чёрный, как уголь, кусок и простионала:

— Смотрите, какой хлебец-то едим... Не ножом режем, а топором рубим этот пережной...

Отец побледнел и, расчёсывая дрожащими пальцами бороду, проговорил срывающимся голосом:

— Мы, батюшка, тебе в тягость не будем: свой кусок хлеба достанем и лишнего места в избе не займём. Благослови меня раздельно от тебя жить.

Дед с каждым словом отца разгибал спину, поднимал голову, и я видел, как у него кровью наливалось лицо. Замирая, я ждал, что дедушка сейчас вскочит и ударит отца. Но он, должно быть, не мог нарушить стародавнего обычая — соблюдать благопристойность при свидании с женатым сыном после долгой разлуки. Вероятно, он был уверен, что отец не даст ему и руки на него поднять. Это почувствовали все: Тит оторопело отодвинулся дальше по лавке, Сёма изумлённо таращил глаза на отца, а бабушка со стонами причитала:

— Хоть бы побаяли без греха... Отец! Васянька! Помолились бы... к Богу бы поближе...

Дед взглянул на иконы и сгорбился. Дрожащей рукой он схватился за бороду, но сразу же уронил кулак на стол.

— Вот шлялся на стороне — и обасурманился И женёнка волосник потеряла. Греха на душу не возьму — и так грехов много. Неурожаем Бог наказал, со всех полей и мешка не намолотить Живите сами по себе: с чем пришёл, с тем и уходи. Раздела не будет: выделять тебе нечего. Кормись сам. У Митрия Стоднева от хлеба амбары ломятся, а копейка-то у него алтыном растёт.

Мать сорвалась с места и выбежала в сени. А бабушка рыхло поднялась со скамьи и со стоном пошла в чулан. Но у дверцы остановилась, у неё затряслись плечи: она плакала, закрыв лицо фартуком. Должно быть, она переживала какое-то большое горе. Отец растерянно смотрел на неё, и я видел, что ему было жалко бабушку: он наморщил лоб и тяжело задышал. Только в этот

момент я заметил, как грязно и неприятно в избе, как сгорбился и одряхлел дед, словно перенёс тяжкую болезнь и ещё не выздоровел: не было уже в нём прежней гнетущей силы, и сам он раздавлен нуждой. Кати не было уже в семье, и без неё стало нудно и пусто. Бабушка подошла ко мне и прижала к себе мою голову.

— Приехал вот, внучек, и словно звёздочка у нас засветилась. Голосок-то твой так у меня в сердце и звенит. Тосковала-то я как по тебе! А очутился около меня — и нечем тебя попотчевать: ни каши нет, ни молочка нет. Никогда ещё мы так не бедствовали... И чего дедушке вздумалось вытребовать вас — ума не приложу. Всё-таки деньжонки высылали бы, а сейчас — ложись в гроб да помирай.

Дед, как и прежде, прикрикнул на неё, встряхнув бородой:

— Ну, понесла кобыла, только лягнуть забыла... Не завидууй, от других не отстанем: подохнем не ныне — завтра. Вон гробы-то один за другим тащат — холера подряд всех косит. Архипу да Мосею — работы невпоровот.

И вдруг он поразил меня внезапной переменной: он жалко улыбнулся, показав из-под усов стёртые зубы, и старческим голосом кротко попросил:

— Дал бы ты, Васянька, хоть рублика три... Муки бы я купил у Митрия аль у Пантелея...

Отец, потрясённый, встал и, прижав ладонь к груди, косноязычно пробормотал:

— Да ты чего это, батюшка?.. Аль я... аль я враг родной крови?..

И у него затряслась борода, а глаза налились слезами. Он торопливо вытащил из кармана портмоне́т и, нагнувшись над столом, подвинул его к дедушке.

— Вот, батюшка... чего есть при мне — всё твоё.

Дедушка взял портмоне́т, осмотрел со всех сторон и вытряхнул деньги на стол. Зазвенела мелочь, и упало несколько бумажек. Дед тщательно пересчитал их, потом собрал серебрушки и медь. Отец сидел, обхватив голову руками и опираясь на локти.

Бабушка шептала мне, всхлипывая и постанывая:

— Дедушка-то у нас какой стал!.. Кручина-то его как скрутила!..

Тит опять придвинулся к столу и жадно смотрел на руки дедушки. А Сёма хвалился, подталкивая меня локтем:

— Ежели бы я не делал всякой всячины, да тятенька не продавал бы на барском дворе, да не препоручал бы продавать на базаре в Петровске, мы бы ноги протянули!..

Вбежала мать с какими-то обновками и положила их на лавку около меня. Она встряхнула пунцовую пахучую рубашку и подала бабушке.

— Не обессудь, батюшка, на подарочке... Не дорога копейка — дорога слеза.

Дед покосился на рубашку и на мать и гневно прикрикнул на неё.

— Волосник-то надень! Басурманкой в дом влетела... Возьми рубашку, мать!

Мать не испугалась, словно не слышала окрика бабушки. Она с поклоном передала рубашку бабушке, взяла с лавки большой кубовый платок и развернула его.

— Для тебя от чистого сердца, матушка.

Бабушка растрогалась и заплакала.

— Куда уж носить-то... и на люди с таким добром не покажешься: везде — смерть да беда.

Но мать с радостным блеском в глазах подбежала к Титу, а потом к Сёме и положила им на плечи сарпировые рубашки. Тит схватил подарок, крепко зажал в руке и выбежал из избы, а Сёма по старой привычке промычал:

— Спасёт Христос, невестка!

Я заметил, что бабушка отодвинул портмоне к отцу, за ним — часть денег, а перед собой оставил пять рублёвых бумажек и мелочь.

— Бери! И тебе надо на обзаведенье. А чего у тебя ещё спрятано — не спрашиваю: Бог тебе судья.

Отец встал и, подняв брови, сказал торжественно:

— Я, батюшка, весь перед тобой. Почитал тебя и почитаю. Милости прошу благословить нас с Настасьей родительским советом и молитвой.

Бабушка снисходительно буркнул:

— Бог благословит. Живите как хотите.

А бабушка простонала:

— О-отец, раскрой сердце-то своё ради благодати... Смерть-то ведь по дворам ходит да косит...

Мы выбежали с Сёмой на улицу и наткнулись на вереницу гробов. Их несли высоко на носилках по двое человек. Позади них брела маленькая кучка баб и стариков.

— Холера! — ужаснулся Сёма и рванул меня обратно.— Бежим назад, а то она, как чадом, опалит нас.

Мы вбежали во двор и захлопнули калитку. Я смотрел в щёлку, но не на жёлтые гробы, плавно колыхавшиеся на

носилках над волосатыми и бородатыми головами мужиков, а на щебечущих касаток, которые носились низко над дорогой и над гробами. И странно, беспокоило меня одно — душная гарь, дымная мгла в воздухе до самого неба, словно тлела и обугливалась земля. Солнце казалось сквозь эту мглу мёртвым и твёрдым, как остывающее железо.

— А где Катя? — спросил я — спросил потому, что без неё изба как будто помертвела.

Сёма осудительно проворчал:

— Аль не знаешь где? Её зимой ещё Киселёвы высватали. Связалась с Яшкой, а тятенька хотел ей выволочку дать, да сам испугался, как бы слава по селу не пошла да как бы ворота не вымазали. Только кладку хорошую выпросил: двадцать целковых. А сейчас она у Киселёвых — словно сама свекровь.

И неожиданно засмеялся.

— А Сыгнейка — у чеботаря. Ну и мастер стал! Осенью в солдаты забреют — лобовой.

— Надо бы Кузяря увидетьь...

— Примчится твой Кузярь. На нём сейчас лежит всё хозьяство: Кузя-Мазя от холеры умер, а Груня и не встаёт — брюхом мучается.

Сёма даже руками хлопнул по бёдрам от удивления.

— Вот чудо-то: отец-то здоровый был, а мать пластом лежит, как щепка стала. Её обошла холера-то, а Кузю-Мазю в сутки скрутила. А чего ты о тётке Маше не спрашиваешь? — упрекнул он меня, но был рад, что первый сообщит мне новость о ней. — Когда Фильку-то забрили, она от Максима ушла в бабушкину келью и стала на барщину ходить. Максим хотел её на аркане привести, а она у Ларивона спряталась. Он — туда. А Ларивон — недуром на него: все кости ему пересчитал. Я, бает, не тебе, а Фильке её пропил. Мой грех — мой и ответ. Не дам, бает, её в обиду. А ежели ещё раз на нашу сторону заявишься — и другой глаз выбью.

Сёма взывал, повизгивал, размахивал руками, изображая и голосом, и всем телом то Ларивона, то Максима, и смеялся, увлечённый своим рассказом.

Когда гробы скрылись за кладовыми Митрия Стоднева, Сёма раскрыл калитку и вытолкнул меня на улицу. На широкой луке, жёлтой от сгоревшей травы, было пусто, а избы и амбары на той стороне, на горе, казались далёкими и мутными. Всюду была глухая тишина и безлюдье, но это была не сонная, не спокойная тишина: я чувствовал, что люди замерли от страха и прячутся в

своих избах, кладовых и выходах. И мне слышался скорбный голос бабушки Анны: «По грехам нашим Господь посылает велику беду на нашу страну...» И как-то не верилось, что я опять в своей деревне: она как будто та же — и избы такие же, и лука, и заречные взгорья, и вёглы за рекой, внизу, так же густо зеленеют, но всюду — немая жуткая тревога. И эта страшная холера представлялась мне таинственной тенью, которая бродит по селу и несёт с собою моровое поветрие. Но Сёма не унывал, он по-прежнему занят был своими сооружениями и, очевидно, только о них и думал. Холера беспокоила его не больше, чем, бывало, мирской бык: забодает он того, кто нечаянно попался ему на дороге. Не отходи от своего двора, не шатайся по шабрам, не ротозейничай, когда несут гробы, — и холера минует и не оглянется. Он не говорил ни о холере, ни о покойниках, ни о бедствиях, которые обрушились на мужиков: это его мало интересовало, потому что это было непонятно и странно и угнетало душу, а интересовался он только живыми людьми, их простенькими делами и своими поделками.

— За этот год я уж не знаю сколь сделал разных разностей... Тятенька всё их продавал. Я всю семью своим рукомерлом кормлю.

И он самодовольно засмеялся.

— А сейчас я покажу тебе, чего я выдумал. Ничего нет лучше, ежели люди тебе дивуются. Тогда на душе-то словно Пасха с колокольным звоном.

Мы прошли с ним в выход, спустились по покато́й дорожке глубоко вниз, в сумеречную клеть, где хранились в сундуках наряды и одежда, а на полках лежали всякие домашние вещи — сита, решёта, сбруя, прошлогодняя кудель, священные книги и какой-то железный лом. Слеплённый знойной гарью и солнцем, я сначала утонул в прохладном мраке подземелья, но потом привык к фиолетовым сумеркам и увидел на земле стружки, чурбачки, плотничьи инструменты и среди них — аккуратненькую тележку, похожую на тарантас. Колёса были тоненькие, ошипованные, ступицы и спины — красиво выструганные. Перед сиденьем торчали две железные ручки. Сёма любовно потрогал и погладил тележку и прокатил её вокруг толстого чурбака, в котором торчал маленький топорик. Ручки замахали взад и вперёд поочерёдно, и тарантасик застрекотал и зазвенел колёсами по неровности пола. Сёма радостно засмеялся и посмотрел на меня ожидающим взглядом.

— Что, брат, ага?

Я очарованно любовался этой диковиной и не мог выговорить слова от восхищения.